

БЕЛАНОВИЧКА ЖУРНАЛ
★ СОВЕТСКИЙ ВОИН

МЫЗА ЛАВОЛА

ВАЛЕРИЙ
ДЕМЕНТЬЕВ



84(2=Рс)6+кф

Александру Викентьевичу

Романову -

Сестра - Романова -

Другу моему завещанию

Василию

194-202



Вологодская областная универсальная
научная библиотека им. И.В.Вавилова

ДАР СЕМЬИ

Романовых



Валерий ДЕМЕНТЬЕВ

МЫЗА ЛАВОЛА

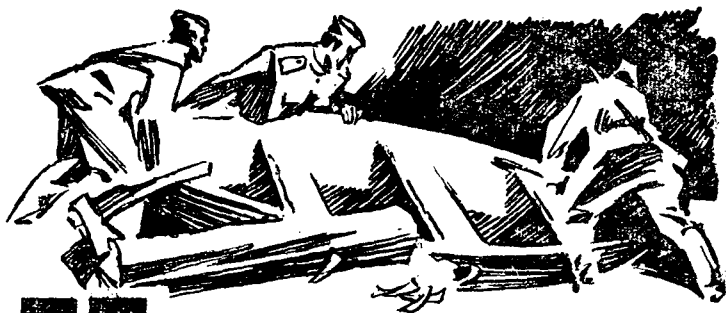


Валерий Деметтьев родился в 1925 году в деревне Каргачево за Волоками — так в старину называли Вологодчину. В начале Великой Отечественной войны экстерном закончил десятый класс и был направлен в Московское военно-инженерное училище. После училища девятнадцатилетний офицер, командир взвода инженерной разведки, участвовал в штурме Выборга. На откосах Сайменского канала, под Выборгом, он встретил перемирие с финнами. Затем с действующими частями 1-го Украинского фронта прошел боевой путь от Сандомира до чешского города Градец-Кралоуе.

Перу В. Деметтьева принадлежат сборники литературно-критических очерков «Поэзия и жизнь» (1960), «Поэты от земли» (1963), монографии о творчестве выдающихся советских писателей С. Щипачева, А. Прокофьева, Я. Смелякова, книги новелл «Северные фрески» (1967) и «Спас-Камень» (1968). Недавно в издательстве «Московский рабочий» вышла его книга «Огненный мост». В ней рассказывается о поэтах и прозаиках, чье творческое возмужание совпало с годами Великой Отечественной войны.

В. Деметтьев — член КПСС. Он — член редколлегии еженедельника «Литературная Россия».

P 11295948



Не было слышно ни птичьего писка, ни человеческого голоса. Сквозь кустарник, прикрывавший меня сверху, струилось осеннее солнце. Узкая лодочка ивового листа, покружившись, мягко упала на воду и боком-боком поплыла в сторону залива. Я долго следил за ее беспечным скольжением. Дно передо мной было светлым, пестрым от солнечных бликов: кое-где сквозь ил пробивалась песчаная зыбь. Я еще раз осмотрел прозрачное, обманчивое в прозрачности дно, достал из туго оттопыренного кармана портянки, развернул их, пошаркал друг о друга и, склонившись к воде, стал полоскать...

Расслабляющее чувство покоя и лени охватило меня, когда я прилег на затравеневший песок. Закрыв глаза локтем левой руки, правой я перебирал песчинки, то сгребая их в грудку, то прихлопывая ладонью...

— Лед, а не вода, товарищ младший лейтенант!

Я приподнялся на локтях и, шурясь от низкого солнца, долго приходил в себя. Только что подо мной был деревянный настил — в щели сонно плескалась речная волна. Высоко в небе над светлыми куполами

собора черной метелью кружились стрижи. Вздвигали и хохотали девчата — мальчишки будто ненароком норовили столкнуть их в воду. Я даже почувствовал вкус слюнки, застывшей в уголке рта, и сладкое, дремотное томление в обласканном ветром и солнцем теле.

Наконец я сел, крепко потер лицо руками и потянулся за папиросами.

Жабчиков, широкогрудый, приземистый солдат, развешивал на кустах мокрые гимнастерки:

— Мин, говорили, натыкано по всему побережью...

— Да нет... Я смотрел — не видел.

Говорить со сна не хотелось, и я, уставившись на слоистый дымок папиросы, потирал зябнувшие ноги, отголосками переживая виденное во сне. Тихая грусть охватила меня, пригнула голову к коленям.

...В то лето мы часто встречались на дощатых мостках водной станции. Хорошо было, не отжав трусы, не обсохнув как следует, забраться в старинный, заброшенный собор, где лики святых с коричневыми подглазьями окружали нас гулким безмолвием. А потом снова сбежать к купалке и, отмахав саженками до плотов, медленно тянущихся за буксиром, лечь на бревна и следить, как скользит, меняется, отступает назад панорама родного города.

Жабчиков привалился к валуну, вытянул одну ногу, пошарил в кармане, затем, перевалившись на бок, залез в другой карман, достал алюминиевый портсигар, кресало, трут, газетку, потертую на сгибах, и разложил свое хозяйство на песке. Неторопливо, но ловко лизнул край газетки, прикурил и глубоко затянулся:

— Слышал я, товарищ младший лейтенант, от выздоравливающих из медсанбата...

- Ну и что ты слышал?
- Самолет на Москву пролетел...
- Какой самолет?

Жабчиков затянулся и, медленно выпуская дым из ноздрей, важно пояснил:

- Ихний!
- Слушай, Жабчиков. Брось ты разыгрывать меня!

— Ей-богу, пролетел, — связной значительно посмотрел мне в глаза, — и ни одна пушка не стукнула.

- А дальше?

Жабчиков неопределенно помахал рукой: мол, понимайте как знаете, да и вообще мало ли с какой новостью мог пролететь самолет на Москву — четвертый год воюем без передыху. Но, увидев, что я не верю ему, насупился и стал выковыривать окурок из наборного мундштука.

В обесцвеченной, выгоревшей дали родился и, нарастая, стал стремительно приближаться к нам протяжный гул. На другой стороне залива бойко зачастили зенитки. Небо быстро пятналось комками разрывов, которые, лохматясь и тая, стекали в сторону моря. Внезапно кто-то с силой рванул блеклый коленкор небосвода. Еще и еще раз. Мы с Жабчиковым вскочили на ноги. За стремительной каруселью воздушного боя было трудно уследить: от слепящего солнца, от напряжения черные мухи плыли кругами. Только по ожесточенной перестрелке, по суживающемуся до пронзительного воя гулу моторов мы оба понимали, что там, в небесной и недавно такой беспредельной вышине, идет схватка не на жизнь, а на смерть.

Едва приметная струйка дыма за одним самолетом стала распускаться в черный, безобразно клубя-

щийся хвост. Раздался взрыв — самолет упал на другой берег залива. И под этой жирной полосой, перечеркнувшей небо, в этом затихающем треске пулеметов и реве моторов как-то незаметно вспыхнул белый купол парашюта. Его медленно сносило к морю. У меня захолонуло сердце — я скорее почувствовал, чем понял разумом, как беспомощен сейчас летчик, рассказывающийся над мертвенно-синеватой чашей залива.

Черная тень чиркнула по берегу: «мессер» с белосиними кругами на крыльях разворачивался для атаки. «Что он делает, что он делает, гад?!» — повторял я побелевшими губами, подавшись всем телом вперед, туда, где вот-вот должно было произойти что-то непоправимое и страшное. «Мессершмитт» дал длинную очередь — белый одуванчик пыхнул, свился жгутом, черная точка скрылась в колюче-сверкающем мареве залива.

Волглая гимнастерка никак не лезла на плечи. Я спешил, натягивая ее, торопливо запихивал погонны в карманы галифе, охватывал себя ремнем.

— Молодой летун-то был, неопытный. Вишь, как его закружили.

Жабчиков стоял рядом, уже одетый по форме.

— Да замолчи ты! — зло оборвал я связного и, хватаясь за кустарник, начал подыматься по береговому откосу. Из-за ближней высотки ударили гаубицы. Возле устья канала разгоралась ожесточенная перестрелка. По частой и беспорядочной стрельбе можно было понять, что не мы одни, затаившись, следили за исходом воздушного боя. Все побережье, изрытое траншеями, заваленное валунами, увенчанное зелеными шапками сосен, видело, как «мессершмитт» в упор расстрелял летчика, выбросившегося с парашютом.

Запыхавшись, мы вышли на тропу, перевалили через высотку и спустились к рокадной дороге.

...Еще издали мы слышали глухие, как по пустым бочкам, удары колотушек: саперы конопатили лодки. Потом донеслось мерное вжиканье пил, потом потянуло чадом батальонной кухни и еще чем-то обжитым, деревенским, чем всегда отличаются таборы людей в лесу или в поле, среди смолистых запахов сосны и сухого дурмана сена.

Все эти приметы, звуки, запахи мирного человеческого жилья волновали меня, когда я подходил к части. Они напоминали мне то, что я любил с детства, — просмоленные лодки перед путиной, ветерок, обдувающий грудь, добрую плотницкую усталость перед сном, они рассеивали мои прежние представления о людях войны, о самой войне.

Война была непохожей, не сравнимой ни с чем, но она была жизнью, была наполнена житейскими делами и заботами. Так, по крайней мере, казалось мне тогда. Я не знал, что жизнь на фронте идет рывками: то уплотняется до считанных секунд, то растягивается на неопределенно долгие сроки. Но неизменным, сопутствующим каждому твоему движению, каждому твоему дыханию было и оставалось одно — чувство ожидания, бесконечное, томительное, неотступное ожидание чего-то такого, что ты заранее не знаешь и знать не можешь, что существует вне тебя, вне твоей воли, но существует реально. И ты обязан был ждать это что-то, ты должен был уметь ждать и ничем не высказывать ни своего нетерпения, ни своего недовольства.

Бывалые солдаты умели если не заглушать, то хотя бы притуплять это неотвязное чувство. В свободную минуту они мастерили всякую хозяйственную

мелочь — наборные мундштуки, портсигары, ножи, зажигалки, подолгу протирали и смазывали оружие, пересчитывали патроны, укладывали солдатский скарб в вещмешки, по-фронтовому «сидоры», да и вообще постоянно были при деле. Но я не умел ждать, не умел занимать руки, поэтому, когда оставался наедине с самим собою, чаще, чем обычно, вспоминал дом, мучился, не понимал, что же происходит со мною...

Накануне, как всегда перед отбоем, первая рота коротала вечер в двускатной землянке. Саперы сидели, свесив ноги с нар, лежали на раскатанных шинелях, лениво перебрасывались словами. В изголовьях у всех — скудные пожитки: вещмешки, котелки, ватники, лопаты и топоры в брезентовых чехлах. Автоматы — в козлах возле земляного приступка, на котором боком, поближе к свету, присел сержант из старослужащих Николай Иванович. Его седая, стриженная голова низко склонилась к коленям: сержант старательно правил на оселке лезвие топора.

Связной Жабчиков рылся в сидоре, раздумывая, как лучше уложить завернутую в полотенецко пачку мыла, которую он выменял у разведчика на трофейную зажигалку. Я лежал на отдельном топчане в конце землянки.

Уложив сидор, Жабчиков покурил, помолчал, а затем простовато спросил:

— Младший лейтенант, а много ли вы песен знаете?

В темноте невозможно было увидеть выражение его лица.

Саперы заинтересованно ждали.

— Давайте на спор... А? Кто больше песен знает?.. Товарищ младший лейтенант, — тянул Жабчиков, — ну, по куплету хотя бы?..

Я поотнекивался для вида, потом устался в бревенчатый потолок. Вспомнился дядя Михайло — сидит за столом, захмелевший, грузный, стиснул пальцами край белой скатерти, изливает душу в острой печали. Я вздохнул от волнения.

...В пору пришла песня. Она коснулась солдатских лиц, разгладила морщины, разбередила старое, напомнила каждому свое. А я, польщенный вниманием, входил в раж. Начинал и, не докончив, обрывал старинные романсы, какие-то джазовые песенки...

Солдаты зашевелились, запokaшливали.

— Давай, лейтенант, давай!.. Давай следующую!

Меня подзадоривали, но я, сев на топчан, выводил самозабвенно:

Тронутые ласковым зага-а-аром...

Наконец выдохся.

И тогда Жабчиков, заперебирал в воздухе короткими пальцами, загундосил, затилиликал:

По деревне деука шла,
деука здоровенная...

Частушки сыпались, одна забористее другой, подмывая встать, ухнуть, пройти в узком проходе, ударить армейским ботинком так, чтобы пыль взвилась до наката. Тут-то я и понял, что саперов веселили не только лихие запевки, — связной откровенно озорничал, воспользовавшись простотой самолюбивого лейтенантика.

Задевая за вытянутые в проходе ноги, я опрометью бросился к выходу. Последнее, что довелось мне услышать, был голос Николая Ивановича:

— Зря вы, ребята... Малый к вам со всей душой...

Это самое «малый» больно задело меня. На ощупь я спустился к лодкам, сел на корму одной из них и долго смотрел, как поминутно менялось зарево у

мызы Лаволы. Глухой рокот доносился оттуда. Никогда прежде так сильно не тянуло меня туда, в пулеметную трескотню, в разрывы снарядов, как в тот час одиночества и горьких раздумий...

Неделю назад я был откомандирован из офицерского резерва дивизии в распоряжение командования отдельного саперного батальона. А до этого чуть ли не месяц проторчал в дачном поселке, где были сосредоточены вспомогательные службы дивизии, где находился медсанбат и наш резерв. Я томился в резерве со всей непосредственностью девятнадцатилетнего юнца, который, как говорится, без году неделю служил в армии: прямо со школьной скамьи я попал на краткосрочные офицерские курсы и теперь больше всего боялся, что война закончится без меня и что ближе дивизионного резерва я не продвинулся к линии фронта. Резерв я покинул с легким сердцем. Труднее было расставаться с дачным поселком, в котором пусть изредка, пусть мельком я мог видеть Асю.

На вновь прибывшего младшего лейтенанта с новенькой кирзовой сумкой на боку, в которой хранились письма матери да лежала зубная щетка, в батальоне никто не обратил внимания. Я сидел возле штабного блиндажа, дожидаясь кого-нибудь из начальства. Если что и останавливало проходивших мимо офицеров, так это брезентовые сапоги — в летнюю пору они ценились среди фронтовиков. Знали бы они, что не только скромные подъемные, но и пару теплого белья в придачу отдал я за свою обновку сапожнику из АХЧ.

Наконец меня вызвал начальник штаба батальона капитан Осоцкий. Кадрового военного, каковым я уже себя считал, трудно было поразить армейской выправкой. Но капитан Осоцкий, не скрою, поразил

меня. Он стоял возле стола, заваленного бумагами, и строго поблескивал стеклами очков. Вежливым, тихим голосом он расспросил меня об инженерных курсах, о выпускных баллах, наконец, о родных.

— Значит, отец погиб и вы остались с матерью одни? — подытожил он разговор. Помолчал, прикинул что-то про себя и предложил мне для начала познакомиться с жизнью батальона. Это означало, что взвода я не получу, а буду прикомандирован к штабу для особо важных поручений. Осоцкий так и подчеркнул: для особо важных. Раза два меня действительно посылали в штаб дивизии с пакетами. Остальное время я был предоставлен самому себе.

...В батальоне шла подготовка к переправе. Солдат обрадовала эта мастеровая работа. И хотя бомбежки и огневые налеты на побережье участились, война забывалась в легком постукивании конопаток, в пении пил, в протяжном шорохе рубанков.

Как хорошо было и мне ходить по нашей батальонной верфи, помогать, если кому нужна была моя помощь, дельно рассуждать с Николаем Ивановичем, как забить выпавший сучок или подогнать заподлицо доски.

Больше всего я любил бывать с сержантом Николаем Ивановичем. Вот он берет рубанок, и рубанок, как влитой, ложится в ладонь. Вот он, поигрывая топором, сдвинув на седой затылок пилотку, вытесывает два ладных весла. Вот он хмурится, увидев брошенное долото, садится на камень и правит долото напильником. Даже в вечерние часы, когда берег пустел, Николай Иванович все еще покуривал вблизи лодок, а потом брал рубанок и застругивал скамейку, небрежно заструганную соседом. Его сутулые плечи, его стриженный затылок привычно склонялись над лодкой до глухой темноты.

Хорошо было мне в батальоне. Но вчерашний спор в землянке показал другое: мое вынужденное ничегонеделание раздражало солдат, и опека капитана Осоцкого вызывала неодобрительные усмешки. Так, по крайней мере, думалось мне в одиночестве, на корме лодки, в тусклом освещении дальней передовой.

Но молодость брала свое. Поужинав водянистой сушеной картошкой, я вышел на развилку дорог. Вечер опускался на побережье. Воздух постепенно густел, он как будто стекал в ямины, поросшие кустами, застыл там сине и туманно. И только стволы сосен на вершинах огромных камней — бараньих лбов — горели медно-красным огнем. Был тот закатный час, когда волнуешься неизвестно почему, когда ждешь от наступивших сумерек чего-то необыкновенного.

Боязнь, что именно сегодня, именно сейчас я не испытаю, не изведаю то, что мог бы испытать и изведать там, в родном городке, такими же осенними вечерами, когда в садах шуршит сухая листва, когда у калиток подолгу белеют девичьи платья, — эта боязнь упустить невозполнимое, потерять неизведанное толкала меня, вела, словно в забытье, к дачному поселку, где я надеялся встретить знакомых офицеров из резерва и, может быть, ненароком увидеть Асю.

Пройдя развилку, я остановился. Прислушался. Сердце билось четко и гулко. Но не удары сердца, а глухие ответные удары настигали меня. Вначале я слабо различал их, но теперь в прозрачной тишине мне померещились мерные удары барабана. Только оттуда, из дачного поселка, могло доноситься это тупое: «Бум-бум-бум». Я надбавил шаг. Ветер зашвистел в ушах. Щеки попеременно оведали то холодные, то теплые струи воздуха. Теперь уже отчетливо

слышались глухой стук барабана и звонкие всплески труб.

В укромной долине, которую наискосок пересекало шоссе, забелели стандартные домики дачного поселка. Ближе, ближе — вот и лошади у коновязей, санитарные машины, фуры, штабеля ящиков, прикрытых ветками смородины, срубленной у подножия штабелей. Сомнений не было — где-то здесь, в дачном поселке, играл духовой оркестр. Да и не что-нибудь играл, а фокстрот «Дядя Ваня». Танцы! Эта догадка подхлестнула меня. Не разбирая дороги, продираясь сквозь смородинник, шагая прямо по грядкам клубники, я вышел на задворки поселка и остановился перед брезентом санпропускника. Санпропускник напоминал цирк «шапито», но был длинным, просторным, со многими опорами, поддерживающими провисающий пол.

У входа стоял часовой, но, буркнув невнятное слово, я нырнул под его руку и сразу затерялся в толпе. Лампы-«молнии» и самодельные светильники из зенитных снарядов освещали головы танцующих. В тесноте кружились, топтались на месте, покачивались пары. Приметно мелькали форменные береты девушек. Я выбрался из людской толчеи и стал напряженно оглядываться вокруг. Музыка так и подмывала меня пуститься в круг, но вдоль стен с каменным и трудно сдерживаемым безразличием на лицах стояли сержанты и старшины из хозвзводов.

Оркестр умолк. Обмахиваясь платками, невнятно, по-шмелиному гудя, толпа растекалась к брезентовым стенкам.

— В честь чего веселье? — спросил я у стоявшего рядом сержанта.

— Вечер отдыха, товарищ младший лейтенант.

В честь вручения правительственных наград, — отозвался тот.

«Вечер отдыха, а, каково! И где — на самой передовой!» А сам выискиваю глазами, судорожно ловлю хотя бы ненароком брошенную улыбку, чтобы с первыми звуками оркестра замешаться в таком душном, таком славном, таком непозабитом многолюдье танцующих. Мне повезло, мне удивительно повезло в тот вечер. На что я надеялся, но в чем не признался бы даже самому себе, сбывалось: только у Аси была эта пушистая, летящая прядь волос, только она могла так испытующе смотреть на меня.

— Вальс! — крикнули из оркестра.

И я, поймав взглядом ее согласие, первым выступил вперед, решительно пересек площадку и пригласил Асю к танцу. Фонари расплылись в тусклые, оранжевые пятна. Сердце, кажется, подступило к горлу и билось редкими толчками. Протяжный звон в ушах все нарастал, наливал мышцы чугуновой тяжестью.

— Давно не танцевал, — еле вымолвил я в оправдание, но голос был хриплым, чужим.

В глазах, вскинутых на меня, светилось откровенное удивление. Потом удивление сменила догадка. Потом в глубине зрачков заискрились лукавые смешинки. Эти светящиеся точки приблизились к моему лицу, застыли прямо передо мной, заслонили собою все, и я почувствовал, как отступает сердце от горла, как бесследно исчезает чугуновая тяжесть в ногах. Носки брезентовых сапог начинают четко шаркать по дощатому полу: раз-два-три, раз-два-три.

...Нескончаемой пестрой лентой неслись, нет, мчались теперь за этими двумя точками медные трубы оркестра, огни фонарей, стены палатки, людские лица, снова трубы оркестрантов и снова фонари, висев-

шие по углам. Время остановилось. Мир стерло, снесло этим стремительным вихрем, и только две звезды сверкали неподвижно в хаосе, летящем вокруг меня. Они томительно и длинно всасывали мой взгляд, и не было, казалось, такой силы на свете, которая бы оторвала меня от них.

Оркестр сыграл последние такты вальса, но мы не слышали оркестра и лишь тогда, когда площадка стала пустеть, поняли, что одни продолжаем кружиться вокруг столбов, поддерживающих полог. Спohватившись, мы бросились в дальний угол палатки, но рук не расцепили и глаз друг от друга не отвели. Слова, которыми мы теперь пытались обменяться, были торопливыми, случайными. Гораздо важнее было другое, то, что было раньше, тот удар нервного тока, который мы испытали одновременно, когда наши пальцы переплелись. Мы читали по губам совсем иное, не то, что эти губы говорили, узнавали по взглядам нечто большее, чем могли сказать друг другу среди непрерывного брожения танцующих, не знавших, куда себя деть в десятиминутный перерыв.

— Теперь мы будем видаться чаще, — прошептала она. — Санбату — капут. Завтра я буду на канале.

— Где?

— У мызы Лавола...

— Я тоже попрошусь туда, к полковым саперам, — ответил я шепотом, потому что сказанное шепотом, как и все в тот вечер, роднило нас.

В благодарность она порывисто прижалась ко мне и тут же отпрянула, смущенная, растерянная этим неожиданным порывом. Медленно раскачиваясь в чадной полумгле, стиснутые со всех сторон жаркими спинами и плечами, мы были одиноки и счастливы от этого одиночества.



...Оглушительный нестерпимый треск ударил в уши. Одну стену вздуло пузырем, сорвало с кольев и набросило на солдат, стоявших возле нее. Фонари, мигая, заплесали под пологом. Растерянno смолк оркестр, и только валторна сиротливо пыталась закончить партию.

— Всем в укрытие! Артналет! — нашелся кто-то в наступившей тьме, но и без команды плотный ком человеческих тел рассыпался. В первый момент мы инстинктивно отпрянули друг от друга, но тут же, схватившись за руки, бросились под брезент санпропускника.

Над головой — железное, медленное шелестье. Земля осела, расступилась, толкнула в грудь и лишь

после этого раскололась до самого чрева. Пронзительно заржала раненная насмерть лошадь. Впереди что-то вспыхнуло, затрещало.

— Не туда! — крикнула Ася отчаянно. — Он бьет с перелетом. И резко дернула меня за руку.

Перепрыгивая через рытвины, с ходу врезаясь в колючий хвойный мрак, цепляясь за жесткую гриву склона, мы бежали выше, выше — к спасительной гряде валунов. Снова небо вспорол неторопливый шелест, и снова тяжело ахнула земля. Черное крыло камня накрыло нас — мы повалились вниз, в пахнущую сенной трухой темноту.

Если осторожно повернуть голову и скосить глаза, то можно увидеть краешек неба. Засыпанное звездной пылью, оно неподвижно и немо. Секунда, другая... Небо оживает. В нем зарождается движение: шелестя, обгоняя друг друга, тяжелые чушки пролетают среди звезд. Еще немного, и ты разглядишь их, скользящих с вкрадчивым шорохом. Этот шорох тебе знаком, он похож на шорох ночной листвы там, в садах твоей юности... Ах, как безмерно, непостижимо огромно ночное небо! Как бесконечно далеко оно от тебя!

От грузных ударов земля осыпается... Сколько все это длится? Минута? Другая? Вечность? Разрывы доносятся глуше, откуда-то с самого берега залива. «Тум-тум-тум» — пауза: тяжелый снаряд ударил в воду. Артобстрел прекратился внезапно, как и начался.

Звезды перестали шевелиться, земля содрогаться от ударов. И тогда ты замечаешь, что сердце твое бьется не одно, что в лад ему упруго отвечает другое. И тогда ты начинаешь различать не только запах хвои и сенной трухи, но и неясный запах ее волос.

От щекотного прикосновения легкой прядки к виску тебе душно. Надо поскорее выбраться отсюда, скорее спуститься вниз, в долину. Но невозможно повернуться в жестком каменном мешке. Твоя грудь прижата к мягкому, податливому теплу ее гимнастерки. Твоя рука прижата к ее бедру. Сердце томительно падает, падает. Мучительный шепот стихает в неумелом, неловком поцелуе...

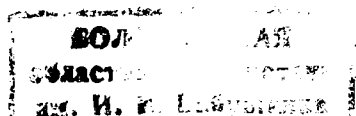
Неистовый безнадежный крик лошади выплеснулся из низины. Раненная насмерть, она все еще билась у коновязи. Сухо стукнул пистолетный выстрел.

— Мирзоев? — голос в тишине слышался особенно внятно. — Мирзоев! Ты освежуй с утра. Чего добру зря пропадать...

Раздвигая руками колючее мелкоколесье, огибая валуны, мы медленно спускались в поселок. Едкий угар до сих пор не выветрился из низины. Дым плавал слоями, сквозь которые смутно желтело пламя в конце поселка.

— Мне надо идти, — тихо и грустно сказала Ася, передохнула, протянула было руку, но потом обхватила меня за шею и долго и слепо припадала шершавыми губами к переносью, ко лбу, к глазам, а я стоял бесчувственный, потрясенный всем случившимся, но более всего этим расставанием, в которое не хотел да и не мог поверить. Вся она, ладная, легкая, родная, была необходима мне. Но передо мною белела стена. И даже поскрипывания ее сапог по гравию не было слышно.

События этого вечера и начала ночи были так непохожи ни на что, пережитое мною раньше, что, возвращаясь к себе в батальон, я содрогался от глухих ударов барабана, преследовавших меня всю доро-



гу, и, попеременно с ними, от оглушительного треска близких разрывов. Казалось, дорога вздрагивала равномерно и тяжело, и я больно спотыкался о камни, разбрызганные по обочинам, вслепую обходил свежие воронки.

У развилки, где я должен был повернуть в часть, шоссе загромодила колонна автомашин. Задние борта были откинuty, с площадок кузовов свешивались длинные стволы лодок. Они белели и сильно раскачивались, когда машины, замедлив ход, переваливались через рытвины. Колонна шла к каналу. Едва не бегом я одолел остаток дороги, а когда подошел к землянке первой роты, от нее мне навстречу отделился человек.

— Товарищ младший лейтенант, — узнал я голос Жабчикова. — За вами два раза из штаба батальона посылали.

— Идем! — коротко бросил я ему и, придерживая кобуру, побежал к штабу.

В штабном блиндаже у самого входа, вытянув ноги вперед, сидел телефонист с привязанной поверх пилотки трубкой. Входившие в блиндаж запинаясь за него, чертыхались в сердцах, а он безучастно и монотонно твердил позывные. Я протиснулся к столу, возле которого стоял капитан Осоцкий, и, покраснев так, что даже в скупом свете «молнии», висевшей над столом, было заметно, доложил о прибытии. Капитан прервал разговор, изучающе взглянул на меня, спросил строго:

— У вас есть карта-трехверстка?..

Я промямлил в ответ, что карты мне не давали, поскольку я...

— Тогда смотрите и запоминайте.

На столе лежала тщательно вычерченная на каль-

ке схема побережья. Я сразу увидел и приморский город, штурмом взятый в июле, и дачный поселок, и шоссе, и развилку, и рассыпанные по заливу острова, и устье канала, на котором ближе к правому берегу стояла точка и было выведено «Мыза Лавола».

— Да, товарищ капитан. Понял, товарищ капитан. Есть, товарищ капитан. Так точно, товарищ капитан. Справлюсь, товарищ капитан. Разрешите приступить к выполнению боевого задания?..

А у самого сердце екает от бешеного восторга. Рука вскинута чуть-чуть небрежно, как учил курсантов взводный Петренко. Поворот налево — кру-у-гом. Так, хорошо, не покачнулся, как штык стою. И-и...

Но капитан остановил меня.

— Прошу вас, — сказал он, раскуривая от одной папиросы другую, — только, пожалуйста, — он сделал ударение на этом «пожалуйста» да еще повторил его, — пожалуйста, не пропадайте, как час назад.

Офицеры, стоявшие кругом, заулыбались.

— Разыскивать вас будет некогда. В восемь утра — переправа.

Я козырнул без прежней лихости и, запнувшись, как все, за ноги телефониста, выскочил из блиндажа.

Дивизия готовилась к утренней переправе. Часть наплавных средств, говоря уставным языком, было решено сосредоточить возле крохотного островка с полуразрушенной крестьянской усадьбой, называемой мыза Лавола. Этот островок в июле был с ходу занят пехотным батальоном капитана Седунова, и за него вот уже полтора месяца шли ожесточенные бои. Островок прикрывал восточный берег залива и позволял в прибрежных кустах сосредоточиваться штурмовым

группам. Пользуясь темнотой, следовало перегнать на остров два десятка лодок, чтобы батальон Седунова принял участие в переправе. С первой попутной машиной я должен был выехать на канал.

Захлопнулась дверца кабины. Под рукой шофера заурчал стартер. Мы осторожно двинулись к шоссе. Возле развилки машина как будто присела, напряглась, затем враз одолела небольшой ров — сзади тяжело качнулись и грохнули днища лодок. Полотно дороги зарябило, заструилось, потекло под радиатор: мы набрали скорость.

Дорогой я мучительно ломал голову над тем, как лучше перегнать лодки к острову. Связать их одна за другой гуськом? А если подымется волна? Если нас занесет на камни? В темноте длинная связка лодок будет поминутно рваться, и мы не успеем до рассвета выгрести к Лаволе. Нет, надо продумать все сначала...

Передовая, еще недавно слабо мерцавшая впереди нас, теперь охватывала полнеба. Ее желтоватые отсветы подымались выше и выше, достигали плотных облаков, залегших вдоль горизонта. И чем сильнее раскалялось это ночное зарево, тем сильнее трясло и качало машину. Сквозь вой мотора, скрип кабины, грохот лодок в кузове уже явственно можно было слышать протяжный гул. Этот гул перекрывал все, он не стихал ни на одно мгновение, он, казалось, длился целую вечность и будет длиться всегда. Куда ни глянешь — по всему горизонту медленно, неумолимо вращаются гигантские жернова, время от времени выбрасывая вверх ослепительные гроздьи ракет.

Вот она какая, мыза Лавола! Я был настолько захвачен этим грозным и тревожным заревом, что забыл думать, что меня самого ждет вскоре.

Радиатор машины стал уходить вниз. Шофер резко притормозил. Темные куши деревьев набежали на нас, погрузили машину в темноту, наглухо закрыли линию горизонта. Еще некоторое время мы двигались по тряской лежневке, рывками подаваясь вперед. Потом встали. Я соскочил на землю, осматриваясь, озираясь, думая, кого позвать для разгрузки машины. Но тут из сосновой тьмы выступили зыбкие фигуры солдат. Несколько бойцов ловко вскарабкались в кузов, другие подошли к задним колесам. Они опускали лодки на плечи и, тяжело согнувшись, исчезали в темноте.

— Кто здесь из штаба батальона? — хриловатый голос комбата послышался откуда-то из-под скалы.

— Я, товарищ майор!

— Подойди сюда!

Под тяжелым надбровьем скалы стоял наш саперный комбат с группой офицеров. Он пожужжал электрической мигалкой, мельком осветил мое лицо, погоны, узнал меня, потом сказал:

— Добро! Пойдешь вот с ним. — Луч фонаря скользнул по плащ-палатке щуплого офицера, командира первой саперной роты.

— Федосимов! Проводишь младшего лейтенанта к каналу и объяснишь боевую задачу.

Тропка, по которой мы шли, запружинила под ногами, зачавкала протяжно и смачно. Я с трудом вырывал сапоги из холодной трясины, но Федосимов шел споро — тропа ему была хорошо знакома, и я старался не отстать от его плащ-палатки, шуршавшей по кустам. Вскоре мы стали обгонять солдат, несших на плечах лодки. Их хриплое, со свистом, дыхание, острый запах пота, смолы и дегтя — все это обдало нас и сразу осталось позади. Федосимов, ни разу не

оглянувшись, шуршал плащ-палаткой все время впереди меня. Мы шли не меньше часа, но лесная темень не расступалась и залива не было видно. Однако я уже понимал, что теперь это недалеко, совсем рядом. При полном безветрии лес ожил — после длинной очереди он наполнялся каким-то неясным дуновением: над головой у меня протяжно и сладко чмокнуло — к ногам упала ветка сосны. Я даже не пригнулся, и не потому, что не испытывал страха, а потому, что не понял, что ветку сбила разрывная пуля.

Теперь Федосимов не шел в полный рост, а перебегал от дерева к дереву. Я последовал его примеру. Внезапно он исчез. Сколько я ни вглядывался в чащу, не мог высмотреть его. Внутри у меня похолодело. «Началось!» — только и подумал я.

— Младший лейтенант, а младший лейтенант... Где же вы? — Шепот доносился снизу. — Прыгайте — здесь траншея.

Действительно, через несколько шагов я сполз в неглубокий ровик и, задевая за выступы камней, часто сгибаясь, чтобы нырнуть под хвойный завал, стал петлять по траншее, которая кончилась довольно большой ямой. Там сидели люди в ватниках и плащ-палатках. Я узнал только Николая Ивановича и Жабчикова. Федосимов шепотом переговорил с ним. «Идем!» — кивнул он мне, и мы снова выползли из ямы. Впереди, играя и зыбко посвечивая при каждой вспышке ракет, медленно текла к нашему берегу маслянистая черная вода.

— Смотри! — дыхнул на ухо Федосимов. — Там мыза Лавола!

Я отчаянно вглядывался в темноту, но ничего, кроме суеты зайчиков на воде, не видел. Замедленно падали и падали в темном небе ракеты.

Они не нарушали тягостной немоты ночи и не оживляли вида залива. При их стремительном взлете скалы, деревья, прибрежный кустарник — все застывало в мертвенном оцепенении. И только когда ракета рассыпалась в огненный порошок, вновь доносился дробный перестук автоматов, а над головами у нас чмокали пули.

— Ты что, оглох, что ли? — раздраженно зашипел Федосимов. — Видишь сосну? Где?.. Да вон, торчит сухой вершиной. Так. Теперь видишь. Держись все время на нее — ты будешь выходить правее острова. Зачем, зачем?.. Чтoб не снесло к морю. Гребь потише. За остров не высовывайся, увидят — кормить тебе рыб в канале. На мызе нас ждут. Ты пойдешь первым. За тобой Жабчиков, Уметалиев, Николай Иванович, ну, его-то ты знаешь, сержант Харитонов из старослужащих, он пойдет последним. Вместе с пехотой перетащишь лодки на другую сторону острова. Там канал — метров сорок. Остальное обмозгуешь с комбатом Седуновым. У него есть связь.

— А как же лодки? — наконец-то нашелся я. — Ну, в смысле, как мы их будем переправлять?

— Ах, ты об этом. Лодки вяжут плотами солдаты. У них за старшего — сержант Харитонов. — Ну, бывай здоров, — бросил на прощание Федосимов. Он соскользнул с камня, на котором мы лежали, и, прошуршав хвоей, скрылся в траншее.

Я прошел метров двадцать по берегу и в чистой заводи увидел солдат-пехотинцев и наших саперов, которые связывали лодки по три в ряд. Одну лодку оставляли свободной для загребного. Плоты, составленные из десантных лодок, мы и должны были перегнать к Лаволе.

Руки привычно легли на весла. Я оглянулся, пой-

мал взглядом вершину сосны, сделал первый гребок. Николай Иванович и Уметалиев, молчаливый, высокий даргинец, оба по пояс в воде, удерживали плот у берега, но, заметив, что я гребу, подтолкнули его вслед за лодкой. Задробила о борта темная зыбь. На передовой по-прежнему часто взлетали ракеты. При каждом взлете я быстро пригибал голову к коленям и так сидел довольно долго. Вскоре, повернувшись, я понял, что сухая вершина не только не приближается ко мне, но как бы уплывает от меня влево и уж совсем скрывается за островком. Тогда я набрал полные легкие воздуха, задержал дыхание и греб до тех пор, пока выдох со свистом и храпом не вырвался из груди. Вода под веслами время от времени светилась, но я уже знал, что это вновь взлетела осветительная ракета. В такие минуты лодка летела вперед, чуть касаясь воды, легко и послушно отзываясь на каждый взмах весла. Но едва ракета сгорала и темнота смыкалась над заливом, этот самообман пропадавал: нестерпимо медленно двигался я к Лаволе.

«Надо смотреть перед собой, уставиться в днище лодки и не замечать ничего другого», — уговаривал я себя и в самом деле вскоре стал грести ровнее, спокойнее, лучше.

«Лю-ю-бит. Лю-ю-бит», — ожили и запели уключины. Что за черт! В каких глубинах, неведомых мне самому, таилось это слово, которого я ни разу не произносил вслух? Почему сейчас, когда я должен был позабыть обо всем, когда для меня не существовало прошлого, не могло существовать будущего, а была только ночь, только темная зыбь да связка лодок за кормой, — это слово родилось, заполнило меня целиком, воскресило прикосновение шершавых губ, долго припадавших к моим глазам?

«Лю-ю-бит», — протяжно поскрипывали уключины. Отчаянная радость поднялась, стала распира́ть меня — все резче я откидывался к носу лодки, все глубже погружал весла в воду. В какой-то момент я с отрадой заметил, что от нашего берега отделилась одна связка лодок, потом другая... Значит, Жабчиков и Уметалиев уже выгребались в залив. Следующая очередь Николая Ивановича.

Днище проскрежетало о камни — плот, подхваченный волной, подплыл и сильно ткнулся в корму лодки.

— Сапер, что ли?

— Сапер, сапер, — ответил я и, схватившись за широкую теплую ладонь, протянутую мне, соскочил на берег.

Втроем, капитан Седунов, Жабчиков и я, мы втиснулись в окопчик, вырытый у самой воды. Стихло похрустывание веток под ногами, вздохи и крикание солдат, уносивших лодки. Уметалиев ушел вместе с ними. Мы остались ждать сержанта. Его плот был в какой-нибудь сотне метров от острова. Ракеты рассекали густой, вязкий воздух, и тогда было видно, как привычно — мелкими, частыми гребками — орудовал на веслах сержант. Довелось, наверно, Николаю Ивановичу погрести на веку, набить мозолей на ладонях. Вот и сейчас он не изменил давней привычке. «Ну, что он тянет?» — с тоской и раздражением думал я, не понимая, что старый сапер берег силы. Он-то знал: утренняя переправа будет не в пример тяжелее ночной. Сейчас — безлунье, тьма, а утром — все на виду, все как на ладони.

Белый столб взметнулся недалеко от плота. «Фыр-фыр-дзи-инь. Фыр-фыр-дзи-инь», — мины фыркали и, падая на камни, разбивались со звоном, как разбиваются вдребезги тарелки, брошенные на пол. Корот-

кие багровые вспышки заметались по острову, взбили столбы на воде, метнулись на остров и снова сфонтанировали в заливе.

— Из ротных минометов садит, — просвистел сквозь зубы Седунов. — Нервничает, сволота... Переправу ждет.

Зарывшись лицом в комбатову шинель, я вздрагивал при каждом взрыве.

Внезапно меня прожгло с головы до пят: «Что с плотом?» Еле-еле я оторвал лицо от колючего, теплого, живого сукна шинели и приподнялся на руках. Плот неподвижно маячил в глубине залива.

Решение пришло внезапно — оно выбросило меня из окопчика, не дав одуматься, опомниться, пере решить.

— Куда ты, дура? — крикнул вслед капитан Седунов, но я уже прыгал с камня на камень, туда, где — я это отчетливо помнил — была оставлена одна лодка, наполовину вытащенная из воды.

— Жабчиков, — позвал я сдавленным голосом. — Помогите!

Никакого ответа. Я уперся руками в нос лодки, потом с силой приподнял его и наконец-то сдвинул с места.

Лодка шла по заливу так, что за кормой всю дорогу журчала и пенилась вода. Противник перенес огонь в глубь залива, и багровые всплески плясали теперь где-то у подножия лесистой высоты. Возле плота я сбавил ход, развернулся. Крепко увязанные телефонным проводом, лодки были наполовину залиты водой. На бортах белела щепа — ее отбили минометные осколки. Вокруг плескалась молчаливая зыбь. Не помню, на каком кругу моя плоскодонка внезапно наткнулась на что-то, потом нехотя,

уже по инерции, подалась вперед. Прямо под веслами я рассмотрел черное просмоленное днище. Это была лодка сержанта. Не в силах сдержать себя, я крикнул в эту мрачную черноту:

— Сержант Харитонов! Николай Иванович!

Ослепительно яркая строчка прошла мглу над головой: с чужого берега донеслась очередь крупнокалиберного пулемета.

Никто не видел, да и видеть не мог, как рукавом ватника я стирал жгучие слезы, выпустив из рук весла.

— Всю жизнь человек повторяет сны детства, все повторяет — даже любовь! — солдат, лежавший рядом, замолк и, не дождавшись возражения, продолжал тихим, задышающимся голосом: — Жил я как-то на даче у бабушки. По Казанской дороге, верстах в сорока от Москвы...

...Пряжка полевой сумки вдавилась мне в щеку, левый бок застыл от цементного пола, но спину согревала спина Жабчикова, который посапывал у меня за плечом, и я лежал, стиснутый спящими, и слушал этот хриловатый, с легкими придыханиями голос. Поднять голову, просто разомкнуть веки, саднившие так, словно в глаза насыпали махорки, было выше моих сил. И я слушал: голос то нарастал, звучал внятно и четко, то пропадал в сумятице сновидений.

— Вода в озере светлая, невесомая. А глубина — брось пятак, и он долго, колыхаясь и покачиваясь, будет мерцать в зеленоватой мгле. Вот и догадались мои товарищи бросить меня в воду, чтобы, значит, научился я плавать сам по себе...

Со мной тоже было такое: расступилась и сомкну-

лась прозрачная гладь, ударила в нос, в горло, в легкие, закувыркалось солнце — наступил конец света... Голос исчез. Разум меркнет. Меня стремительно несет на бетонные опоры моста, я хочу крикнуть, но крика нет, а только немо раскрытый рот — и ощущение ужаса... Но мост остается где-то сбоку, а мое плоское тело покачивается на медленной волне. По песчаной отмели идет Ася, идет, не замечая меня, наклонив голову набок, словно прислушиваясь к чему-то, и светлая прядь ее волос, как летящее крыло, колыхнется возле моего лица.

Опять звучит задыхающийся голос, опять острая резь под веками возвращает сознание.

— Забавным им показалось, как бил лапами этот кутенок, этот бабушкин любимец... А я лежу на берегу, и слезы ненависти стекают у меня по лицу.

— Ну, а дальше, дальше-то?

Снова затмение в сознании. Снова вырастают передо мной бетонные быки моста — вода ревет под ними глухо и яростно...

— В волосах бант диковинной бабочкой, на щеках персиковый пушок, точь-в-точь как на картине Серова... В общем был я в нее давно и безнадежно влюблен. Подошла она ко мне, обняла за шею — вот так, обнявшись, мы и пошли... А васильки-то кругом, васильки. А рожь-то волнами ходит. А небо-то белое, неоглядное, не бывало в моей жизни такого белого, неоглядного неба...

Я вновь проваливаюсь в глубокую бездну сна. Через меня переступают, задевают чем-то острым, сознание на миг возвращается ко мне, но я тут же засыпаю, не смея протянуть занемевшие ноги. И все-таки сквозь сон я продолжаю слышать снижающийся до шороха разговор:

— Ты думаешь, тебе все так обойдется? Нет, война долго будет сказываться.

В ответ рассудительно и веско, удивительно похоже на Николая Ивановича, прозвучало:

— Да, что и говорить. Ненависть, она такая. У нее, что у топи лесной, дна нету...

Только сейчас мне удалось разодрать веки, свинцово набрякшие от усталости. Я повернулся на спину, посмотрел прямо вверх. В круге, отброшенном фонарем на потолок, змеились крупные трещины. Одна из них образовывала профиль серьезного человека в очках, но там, где должны были быть очки, вывалился большой кусок штукатурки, и профиль получался какой-то незаконченный, незавершенный. Проржавевшую арматуру потолка, провисавшую скобу от круга, кое-где подпирали бревна, и все-таки непрочны, ненадежны были эти низкие своды подвала. Сюда, в подвал мызы Лаволы, я забился, пригнав к острову лодки сержанта: было душно, пахло скопищем немытых тел, застоявшимся махорочным дымом.

Носатый профиль внезапно исчез.

— Ты не спишь?

Я узнал Седунова. Длинная его фигура уходила под потолок, и голова в оранжевом круге была, как у библейского праведника, — в нимбе.

— Пойдем, коли не спишь. Потолкуем на холодке.

Переступив через руку спящего солдата, откинутую ладонью вверх, я стал пробираться к выходу. У неровно отесанных валунов, служивших основанием усадьбы, меня ждал капитан. В шинели, накинутой на плечи, он покуривал в рукав гимнастерки. Докурил. Придавил окурочок. Под каблуком остро заскрипело битое стекло.

— И когда проклятушая только кончится, — он выругался. — Сколько себя помню на войне — стекло под ногами хрустит. Тяжело, будто и не по земле ходишь.

Потом сказал, передохнув:

— Вот что, младший! С рассветом тебе надо взять командование штурмовой группой. Лодки делу не помогут. Да и мало их на батальон. Будем наводить штурмовой мостик. Он у меня есть, еще с июля остался, когда мы сунулись в канал. Сунулись, да обожглись. Приказ твоего комбата — тебе идти первым. Твои саперы за тобой. А сейчас двинули: на месте взглянем, как и что.

Мы обогнули решетчатое строение, судя по всему теплицу, и спрыгнули в узкий ход сообщения. Мыза Лавола осталась у нас за спиной. Одна деревянная стена ее вздулась, вырвалась из-под стропил и напомнила ребра парусника, выброшенного на берег. Черепичная крыша провалилась, зияла рваными дырами. Кирпичная труба торчала из этого провала, как вонзенный в небо предостерегающий перст.

Кущи деревьев скрывали откос канала, но поверх деревьев по-прежнему взлетали и гасли разноцветные ракеты. Сейчас они взлетали так близко, что слышно было, как с шипением взмывала выше деревьев огненная струя, хлопая, как новогодняя хлопушка. Мы с Седуновым притаились в пулеметном гнезде. Когда новая ракета распустила огненный хвост, свет ее выхватил противоположный берег, облицованный такими же гранитными глыбами. Был он невысок и полого спускался к воде. Кроме этих глыб да серебристо-мертвенной глазури кустарника, больше ничего невозможно было рассмотреть.

От промозглой сырости меня сильно знобило.

Когда я вконец изнемог от этого нервного озноба, от этой пронизывающей до костей сырости, пехотный комбат сказал мне:

— Идем в подвал. Покурим. Здесь торчать — шальную пулю ловить. А она, пуля-дура, летит без глаз. — И дружески двинул меня в плечо.

Как отрадно было нырнуть под брезентовый полог и снова очутиться в сонной духоте подвала! Все так же храпели солдаты, лежавшие на полу, но в углу стояли еще одни новые носилки с раненым, укрытым по грудь шинелью. Его круглая, распухшая от бинтов голова темнела пятнами крови. Раненый метался. Молоденькая санитарка, пригорюнившись, сидела возле него. В дальнем углу, у дощатого столика на козлах, было довольно-таки свободно. Я присел на скамью, пододвинул котелок — из него торчала алюминиевая ложка; вяло пожевал холодную картошку. Задумался. Надо было ждать и ждать. Надо было запастись терпением и сидеть, изнемогая от сонной одури, от болезненных стонов раненого, от храпа дюжего армейца, раскинувшегося возле стола.

...Постепенно в подвале то там, то здесь стали подыматься всклокоченные головы. Послышался затяжной кашель. Подвал ожил. Под полог поминутно ныряли солдаты — выбегали на двор и, поеживаясь, потирая руки, возвращались обратно. Жабчиков и Уметалиев теперь сидели возле меня. Связой старательно хрустел ржаным сухарем. Уметалиев, поглядывая на него, перематывал обмотки. В нарастающем, слитном гуле голосов, в бряцании оружия, в постукивании котелков о зачехленные лопатки и противогазы не было бодрости, которая всегда отличает подъем в запасных частях. Нечеловеческая усталость не прошла за ночь, и сон лишь ненадолго освежил пехотинцев.

В проломе — одновременно с резко откинутым брезентом — выросли квадратные плечи Седунова:

— Саперы! — довольно громко крикнул он. — На выход!

Плотный, сырой туман ударил в лицо, едва я вышел на волю.

— Нет, младший, что ни говори, а родился ты, видно, в сорочке. — Седунов подхватил полы шинели, как обычно накинутой на плечи, и, кивнув в сторону канала, весело пояснил: — Туманище-то, а?! Ни черта не видно!

Вдоль ходов сообщений и траншей набрякла влагой, обвисла листва маскировки. Дальше все плавало в молочной мгле. Пустынно, дико, бело было теперь на острове. Спеша вслед за Седуновым, я еще раз оглянулся: потрепанная налетами, но не брошенная командой, а поэтому живая мыза Лавола плыла к неведомым пристаням. Угол провалившейся крыши, словно косой парус, — все, что осталось от прежней добротной оснастки, и все-таки мыза плыла и плыла в неразличимую для меня даль.

...В тумане мы налетели на солдата, который орлом сидел в воронке, — мелькнули белые ягодицы.

— Нашел место, — сердито буркнул Седунов, но солдат уже торопливо и поспешно подтягивал штаны, и мы, не задерживаясь, проскочили мимо. Все эти подробности, невольно оседавшие в памяти, помогали мне ослабить туго натянутую струну ожидания.

Когда в знакомом пулеметном гнезде мы остановились, чтобы передохнуть, передо мной выросла пушистая сосенка, не замеченная мною прежде. Ствол ее был засыпан землей, верхушка перебита осколком снаряда. Хвоя успела пожелтеть, но верхушка висе-

ла на тонкой коже, готовая вот-вот оборваться и упасть на дно окопа.

Пехота постепенно заполняла траншеи, ходы сообщений, стрелковые ячейки. Солдаты сидели на корточках. Лица их были напряжены и бледны, оружие прислонено к стенкам окопов или поставлено между колен. Кое-кто покуривал в рукав шинели.

— Передай по цепи: кто курит — пристрелю на месте! — отрывисто бросил Седунов. Он посуровел, посерьезнел. Выбритые до синевы щеки ввалились, белки глаз пожелтели от усталости и напряжения. Достав из нагрудного кармана часы, он глухо пробормотал: — Через десять минут артподготовка.

...Прошелестела первая мина теперь уже с нашей, с восточной, стороны и с треском разорвалась на другой стороне канала.

— Началось, мать твою! — азартно выругался комбат, блестя желтыми белками, плотнее припадая к брустверу пулеметного гнезда.

В тумане часто взбухали и лопались огненные шары. Они то откатывались в глубь берега, то гроздьями начинали рваться у воды. В этой багрово-молочной крутоверти не было слышно, как противник открыл ответный огонь. Нестерпимым жаром опалило меня — с запозданием я сполз на дно окопа. А когда посмотрел назад, то увидел, что сидевший, как и все, на корточках Уметалиев клонится вперед, теряет равновесие. Перевалившись через спину Жабчикова, лежавшего ничком, я попытался подхватить его, но Уметалиев уже ткнулся головой в дно окопа. Непослушными руками я стал поднимать голову сапера. Внутри у меня что-то оборвалось, колющий ком дурноты встал в горле, зрачки затянула радужная пелена.

— На, отпей! — Седунов властно сунул флягу, и я, через силу глотнув из нее, пришел в себя. Рукавом ватника обтер лицо, глубоко вздохнул. В ушах стоял неумолчный стон. Виски сдавило тугим жгутом. Ноги, вытянутые вдоль окопа, одеревенели. Я пошарил ладонями вокруг себя, отыскивая, на что бы можно было опереться, приподнялся, посмотрел назад: Уметалиев, сгорбившись, лежал невдалеке. Ватник его засыпало землей, ржавой хвоей с упавшей вершины сосенки. Возле головы расплылось пятно.

Седунов, проследив за моим взглядом, криво усмехнулся:

— Ну, готовься, сапер. Теперь ты пойдешь!

Наша передовая молчала — с другого берега канала доносились одиночные автоматные очереди. Седунов передал по цепи приказ: «Взять штурмовой мостик на руки! Приготовиться к переправе!»

Солдаты, неуклюже горбятся, на четвереньках стали выползать из окопов и ячеек.

— Шест, шест где у тебя? — в бешенстве зашипел Седунов.

Откуда-то сзади мне просунули тонкий шест.

— Пошел!

Длинная, гнущаяся цепь штурмового мостика стала сокращаться, пульсировать и стремительно подавалась вперед.

— Пошел!

Успех штурма канала решали считанные секунды.

— Пошел!

Держась за веревочную петлю мостка, я перекинул тело через бруствер и спешно, ногами вперед, стал сползать по каменному откосу. Каблуки сапог иногда попадали в щели между квадратными глыбами, иногда в выбоины от мин — это помогло мне сохра-

нить равновесие, не скатиться к воде, которая, как живая, шевелилась рядом.

Воду вспенил первый поплавок, затем второй, третий... Пошел! Пошел! Я вскочил на мостик и стал шестом, словно веслом, буравить воду, отгребаться от берега изо всех сил. Глаза мои ослепли. Сердца не было слышно. Одно желание жило во мне: удержаться, не упасть, не прыгнуть в светлую, влекущую до головокружения бездну. А мостик усилиями множества людей, которых я не знал и которые меня не знали, ходко подавался вперед, рассекая поплавками воду, неостановимо приближая ко мне противоположный берег.

Я ждал: редющий туман срежет пулеметная очередь, но я не услышу ее, я ничего не услышу, а камнем клюнусь в эту неверную зыбь. И кто-то другой побежит по настилу и встанет на это звено, и кто-то третий после него будет яростно работать шестом, пока, наконец, мостик не упрется в гранитный откос. Быстро оглянувшись, я увидел: пехотинцы работали обломками досок, гребли руками, помогая тем, кто был сзади, помогая мне, который был впереди.

...Жгучая ледяная вода накрыла меня с головой. В водовороте закружились оба берега канала, небо, вершины сосен, желтеющий кустарник... Я сразу же вынырнул, отплевываясь, отфыркиваясь, недоуменно оглянулся. Передний поплавок вполз на осклизшую от тины глыбу. Обдирая в кровь ладони, цепляясь за бетонные швы, я выбрался на эту глыбу и, напрягая остатки сил, теряя самообладание, стал тянуть за веревочную петлю первое звено — все выше к стальной, заржавевшей скобе, которую я успел заметить на откосе. Но мостик был неподвижен, и я повалился пла-

стом, уронив голову на мокрые доски. Безразличие и отчаяние охватили меня: «Сорвалось!»

Теперь я был готов ко всему, даже к тому, что вражеский егерь, самодовольно ухмыляясь, щуря белесые ресницы, свесится с бруствера окопа и всадит в упор автоматную очередь. Спиной, затылком я ждал огненную струю свинца.

Синица звонко потренькивала в кустах, и тишина не прерывалась ни выстрелом, ни взрывом. Поспешный топот сапог наконец-то настиг меня.

— Младший лейтенант! Младший лейтенант! — Жабчиков тянул меня за ремень. — Вы не ранены, а, младший лейтенант?

Я подобрал ноги и, опираясь на кисти рук, встал на колени.

— Приказано вертаться! Вертаться приказано! — захлебываясь от восторга, непонятного мне, крикнул Жабчиков и зачастил по настилу обратно. Словно пружина подбросила меня. Захлюпала, запузырилась в брезентовых сапогах вода, намокшая телогрейка давила на плечи, но я отмахивал саженные прыжки по настилу: берег Лаволы был рядом.

С ходу я влетел в пулеметное гнездо, резко присел, задохнулся от бега. Чья-то заботливая рука накинула на спину теплую еще шинель.

— Что, младший, холодна вода в канале? — глаза Седунова сияли непритворной радостью встречи. Он как будто помолодел за это время, посветлел темным лицом с коричневыми подглазьями. Присев на корточки передо мной, он все чему-то посмеивался, все подмаргивал мне, похлопывал себя прутиком по голенищу.

— Вставай-вставай... Нечего шею-то гнуть! — сказал он, подымаясь и поправляя кобуру пистолета на длинных ремнях.

— Что случилось? — выдохнул я наконец.

— Что случилось? — с видимым удовольствием переспросил он. — Что случилось? — Капитан выждал, обвел глазами бруствер, гладь канала, гранитный откос, сосны, выступавшие из кустарника на том, на противоположном, берегу... — А то случилось — пардону сосед запросил!.. — Он обрадовался своей находке: — Ах, мать честная, — пардону запросил, воевать отказался!.. — И расхохотался, обнажив крепкие, ровные зубы.

Мы высунулись по пояс: туман рассеялся, но влажная дымка смягчала лесные дали — они были голубоваты и велики. От них веяло покоем и таким глубоким молчанием, что оба мы замерли, пораженные земной красотой. Под тяжестью наших тел на дно посыпались мелкие камешки — их падение в утренней тишине было кощунственно громким, оно разом отрезвило нас, заставило прыгнуть обратно в укрытие. Седунов вновь стал комбатом, отвечавшим головой за успех важной операции. Спокойно, гораздо спокойнее, чем прежде, он внушил мне, что ситуация в общем-то неясная, что просто в восемь ноль-ноль (опять мой будильник ушел вперед) был получен приказ прекратить огонь, но надо быть в полной боевой готовности и по первому знаку снова начать штурм канала.

— Ты заякорил мостки? — привычным командирским тоном спросил Седунов. — Нет? — И недовольно протянул: — Разз-зява...

Потупившись, я передал ему шинель с вшитыми капитанскими погонами и пошел по ходам сообщений искать своего связного.

Над брустверами окопов приподымались и исчезали каски пехотинцев. Вразброс по острову чернели

борта лодок, замаскированных сосняком. Казалось, секунда, другая, — взлетят вверх три сигнальные ракеты, солдаты подымут на плечи штурмовой мостик, густо облепят лодки, волоком двинут их к каналу, чтобы, спустив на воду, стреляя на ходу, отчаянно выгребая веслами и досками, неудержимо ринуться вперед. И все во имя одной цели — вцепиться в противоположный берег, окопаться там хотя бы у самой кромки воды... А затем бросок за броском вот до того камня, до той воронки, до того замшелого пня; ползком, бегом, скорым шагом все глубже и глубже вклиниваться в молчаливый, враждебный лес.

По одному, по два, ротой, батальоном, дивизией, армией — вал за валом, нарастая, грознея, перепрыгивая через трупы и завалы, через ручьи и стволы деревьев, идти, выходить, прорываться на линию железной дороги, которая стальным лезвием рассекала грудь лесов до самой иностранной столицы.

Среди многих чувств, желаний, помыслов, стремлений было одно — пора кончать, пора кончать эту музыку, называемую войной. А раз так — рывком вперед. Вперед, если даже глаза ослепит вспышка автомата, вперед — в смертной испарине, в немоте последнего крика на шаг, на ступню вперед — и тогда падай, скорчившись на бегу, как будто зажав в животе горсть свинца, раскаленно брызнувшего из за-сады.

Но безмолвен канал. Безмолвна мыза Лавола. Только из окопов и ходов сообщений начинают гуще виться махорочные дымки — это под запекшейся, растрескавшейся коркой гранита полыхает огненная лава. И не островок, затерянный в устье канала, а вся поросшая лесами каменистая, сумрачная земля — это дно войны, как дно кратера, растрескавшегося от не-

стерпимого жара, изъязвленного траншеями, окопами, рвами, готового ежеминутно вспучиться, захлестнуть оком, который уступами уходит к серому небу.

Но безмолвна земля и туманно сентябрьское небо. И солнце, неяркое осеннее солнце, прогревало и эту безмолвную землю и это белесое небо, оно поило воздух легким светоносным теплом.

...Из подвала Лаволы санитары вынесли носилки с ранеными. Они обогнули теплицу и пошли, не сгибаясь, в полный рост, минуя сеть траншей и ходов сообщений, растягиваясь по тропинке, сбегавшей к берегу и заросшей за лето зеленой травой.

У берега санитаров поджидали понтонеры. Они бережно приняли носилки на руки, уставили их рядами на железные понтоны и стали на виду у всех переплывать залив. Спокойствие переправы, скорбной и прекрасной в скорби, в непоказном благородстве, больше всего, пожалуй, убеждало нас, что в мире что-то переменялось, что наступило иное исчисление суток, иное соотношение ночи и дня.

Солдаты вылезли из траншей и, полулежа на обвальной траве, лениво покуривали. Но вот они, словно по команде, разом вскочили — по ходам сообщений шло дивизионное начальство. Последним я увидел нашего саперного комбата: фуражка оттопыривала уши, козырек скрывал глаза жидкой бирюзы и красноватый носик. Он шуршал плащом вслед за плечистым дивинженером.

— Здравствуйте, товарищ майор! — кинулся было я к нему, но комбат досадливо отмахнулся от меня, мол, потом, сейчас некогда, — затрусил за инженером дальше.

Совещание в крайнем пулеметном гнезде было не-

долгим, и снова солдаты сторонились, пропуская начальство, и снова плыла над бруствером огромная фуражка с оттопыренными ушами. Недоумение и обида полоснули меня по сердцу. Но локоть тут же стиснуло дружеское пожатие. Я обернулся и, обрадованный, непроизвольно заулыбался: передо мной стоял капитан Осоцкий. Из-за толстых стекол чернели, словно переспелое вишенье, глаза.

— Какова ваша первая переправа, младший лейтенант? — к вискам побежали улыбчивые морщинки, хотя капитан не улыбался, а просто весело и дружелюбно смотрел на меня.

— Да ничего, вот только Николая Ивановича с Уметалиевым жалко.

— Мы в батальоне знаем... Хорошие были солдаты... Да что поделаешь! — веско, с грустью заметил Осоцкий и, протягивая руку на прощание, добавил: — На этом фронте мы отвоевались. Не скажу — надолго, но отвоевались.

Преисполненный благодарности за эти добрые слова, я крепко стиснул худощавую ладонь и спустился вместе с капитаном к причалу, который успели оборудовать солдаты на берегу Лаволы. Откуда-то с середины залива он обернулся и помахал мне пилоткой.

...Гранитные глыбы, подлесок, сосны, медно сиявшие сквозь зелень, — все до мельчайших подробностей отражалось в зеркальной воде канала. Изредка волна пробегала по отражению, и тогда берег, тот, что был на воде, морщился, колыхался и, казалось, рвался на продольные полосы. Замысловатой игрой воды, зелени, света я не уставал любоваться давно. Подстелив ватник на камень, торчавший возле пулеметного гнезда, я пристально смотрел на воду, на небо, на канал и

снова на воду. Неясные фигурки людей выступили из подлеска и как будто в нерешительности замерли вправо от нас.

— Смотри, они! — мотнул подбородком капитан Седунов. Облокотившись на бруствер пулеметного гнезда, он рассматривал откос в бинокль. Сколько я ни напрягал зрение, я едва различал белые пятна лиц да серую армейскую форму.

— Позвольте мне бинокль, — обратился я к капитану. Но в этот момент мостик тихо дрогнул, стронулся с места — его оторвало от берега и медленно стало заворачивать в сторону залива.

— Говорил тебе, растяпа, заякори! — отложив бинокль, недовольно заворчал Седунов. — Перемирие перемирием, а ты должен быть на той стороне. Там твое место, твой плацдарм. Понял? А теперь живо в лодку! — резко скомандовал он.

Я окликнул Жабчикова, спавшего в окопе под обломанной сосной, и бегом бросился к причалу. В две пары весел мы обогнули остров, подцепили мостик и с трудом стали выгребаться против течения. По ту и по другую сторону канала выросли группы солдат, которых заинтересовало новое зрелище. Безмолвно они следили за нами. Мы кое-как выгребли к старому месту, подтянули мостик, примотали веревкой к скобе, до которой я никак не мог дотянуться раньше. Я оставил Жабчикова одного и разом разогнулся. Первое, что поразило меня, были лица финнов, одинаковые от усталости, щетины, грязных потеков на подбородках. Грубошерстные, серовато-синие кителя егерей были расстегнуты — из-под них виднелось непростиранное белье. Брюки, заправленные в кожаные краги, пузырями вздувались на коленях, и почти у всех ботинки, брюки, кителя были измазаны глиной, а у иных

на локтях, на коленях продраны и кое-как заштопаны солдатской иглой. Привычная окопная солдатня толпилась передо мною, и это открытие потрясло меня.

Финны были без оружия. Их пустые руки неловко висели по швам. Я перебегал глазами с одного лица на другое, испытывая неловкость, досаду на самого себя. Моя гимнастерка нелепо торчала из-под ватника, словно из-под бабьей кацавейки. Торопливо одернув гимнастерку, я не без умысла — знай наших! — подтянул голенища брезентовых сапог. Но растоптанные, с разводьями от воды и соли сапоги мало понравились мне самому. Я солидно тронул кирзовую кобуру и приосанился для вида, небрежно выставив вперед ногу. Потом, не зная чем занять себя, полез за папиросами. Была у меня пачка «Веломора», и когда я достал ее, несколько заскорузлых рук неуверенно протянулось ко мне. Я разорвал верх пачки — она враз опустела.

В это время на острове глухо ударил взрыв. Все вздрогнули, напряглись, отпрянули друг от друга. Финны смешались, но не отступили ни на шаг. Сстиснув зубы, я стоял прямо против них, не решаясь оглянуться назад, на остров.

— Товарищ младший лейтенант. — Жабчиков вынырнул из-за плеча. — Это кто-то из наших подо- рвался.

И хотя егеря тоже поняли причину взрыва, замешательство не проходило. Наоборот, улыбки сгасли на худощавых, голубоглазых лицах. Потоптавшись на месте, загасив окурки папирос, солдаты быстро вскарабкались по склону и растворились в прибрежных кустах, как будто их передо мною никогда и не было.

В лодку натекла вода, и Жабчиков, навалившись на борт, вычерпывал ее котелком, который прихватил вместе с вещмешком и автоматом. У поплавков штурмового мостика медленно кружилась лесная труха — желтые листья, ветви, хвоинки, осиновая щепка. Все это постепенно всасывалось под настил и уносилось течением дальше. Жабчиков бросил вычерпывать воду. Потом он встал и подгрел веслом тело утопленника. Сержант Харитонов! Догадка поразила и одновременно ужаснула его. Да, это был добрейший Николай Иванович: сквозь воду темнела его, сутулая спина, белел седой стриженный затылок.

Вдвоем мы втащили тело в лодку и медленно поплыли к Лаволе. Жабчиков сидел на корме, я — на веслах. Где-то посередине залива он расстегнул гимнастерку и, содрогнувшись от холода мертвого тела, оторвал внутренний карман. Я бросил весла — в свертке, разбухшем от воды, аккуратно перехваченном резинкой, была пачка слипшихся писем и алая книжица. Я развернул ее. Это был партбилет сержанта Харитонова. Нижний край партбилета неровно оборвал осколок, карточка отлипла и отвалилась, но заглавная строка «Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)» четко выделялась каждой буквой. Мне никогда не приходилось держать в руках партбилет, и вот теперь посреди канала, в дреме сентябрьского полдня, я впервые держал его и с волнением разглядывал эту начальную строку и многозначный номер под ней. Перевязав сверток резинкой, вложил его в нагрудный карман своей гимнастерки. Карман быстро промок, но мне было горестно и отрадно, что сердце мое билось под этой алой книжицей, под пачкой писем, хранивших беду и радость человека,

которого нельзя было не полюбить, к смерти которого нельзя было привыкнуть.

Понутив головы, мы догребли до причала и здесь же, у самого приплеска, похоронили сержанта. Жабчиков уложил края могилы черепицами. Я вырезал из жести звездочку, прибил ее к заостренной на конце балке, на которой карандашом написал фамилию, имя, отчество, звание сапера и дату смерти: 4 сентября 1944 года...

— Тебя к телефону! — сказал мне капитан Седунов. Его узкие губы хотели, но никак не могли сдерживать улыбки, которая змеилась по темному, с коричневыми подглазьями лицу. Я поспешно вырвал трубку у телефониста: сквозь писк и треск приметно пробился голос:

— Родной мой, — я онемел от неожиданной радости. — Родной мой, ты жив? Я столько пережила за эту ночь! Столько пережила! Я думала: тебя принесут на носилках в санбат. Я.... боялась этого, хотела этого... чтобы быть рядом с тобою, чтобы спасти тебя. Я так...

Шорохи и разряды усилились, голос походил на ниточку. Эта ниточка истончалась, истончалась и оборвалась совсем.

Напрасно я тряс трубку, дул в нее — ничего, кроме пронзительного писка, не было слышно. Телефонист полусонно смотрел на мои старания, не изъявляя особой охоты помочь мне. Голова гудела. Она враз распухла от пронзительного писка, который в памяти моей все равно не мог заглушить Асин голос. Помехи лишили голос теплоты и нежности, они придавали ему какой-то металлический привкус, но даже таким я готов был слушать его вновь и вновь.

Аппарат зазуммерил. Телефонист взял трубку и

снова передал ее мне. Жадно я схватился за нагретую ладонью телефониста дужку, припал ухом к мембране.

— Алло, — хриловатый голос майора, командира нашего саперного батальона, окатил меня холодной водой. — Это младший лейтенант? Да? Ты что на острове ошиваешься?

Трубка хрипела, билась, рвалась из руки. На моем лице, надо думать, было написано такое недоумение, что полусонный телефонист не удержался и прыснул.

— Забирай связного и немедленно являйся в штаб батальона. Ты слышал? — хрипела трубка. — С завтрашнего дня начнем разминировать поля. Что мостки? Без тебя обойдутся. Чтоб через час быть в батальоне. Все. Выполняй приказание.

Голос смолк. Я подержал трубку, приложил мембрану к уху, но в ней не было слышно даже привычных шорохов и писков.

— На тебя нынче спрос, — беспечно заметил капитан Седунов, как всегда сидевший у стола в накинута на плечи кителе. У него была привычка что-нибудь накидывать на плечи — он любил чувствовать плечи и руки свободными.

— Приказано явиться в штаб батальона, — упавшим голосом сказал я.

— Что такое?

— Комбат говорит, я на острове ошиваюсь.

Седунов присвистнул:

— Тю-ю-ю. Чудак этот твой комбат — вот что я скажу. — Узкие губы Седунова дрогнули в дружелюбной улыбке. — Ночью бы он здесь побывал... А впрочем, — Седунов тряхнул головой, — коль приказано — надо топать, сапер.

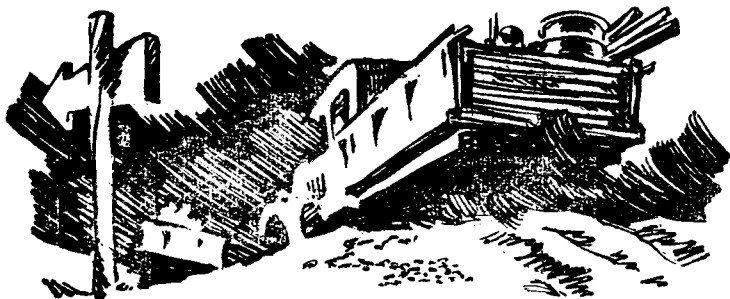
Он встал, скинул китель на стол, шагнул ко мне

и стиснул меня в объятиях. Его иссиня-выбритая щека коснулась моей щеки. Капитан двинул по привычке в плечо, пронзительно и остро посмотрел карими, глубоко запавшими глазами, добавил:

— В случае чего, просись ко мне в батальон. Знаешь: дальше фронта не пошлют, меньше взвода не дадут. Дам я тебе взвод разведки. Из тебя, темнота курсантская, толк выйдет.

Лодка мягко прошуршала днищем по мелководью и встала в той самой заводи, откуда мы начинали путь на Лаволу. Песок все еще был истоптан солдатскими сапогами, изрезан киями лодок, засорен обрывками телефонных проводов. Но смотрел я на заводь, на следы наших поспешных ночных сборов уже другими глазами, воспринимал другими чувствами, словно долгие-долгие годы прошли с тех пор, как я налег на весла и отчалил от берега, освещенного всплеском ракет. Да и шли мы с Жабчиковым теперь верхом траншеи, легко перешагивая с одной стороны на другую, изредка прихватывая горсть спелой брусники. Наконец, мы вышли на лежневку и стали подниматься в гору. Вершина горы была камениста. Глаза заслезились от ветра, от вольного простора, открывшегося нам. Белая кромка прибоя опоясывала побережье. Выпуклая гладь Финского залива сливалась с грядой облаков, тяжело клубившихся на горизонте.

Мы решили приютиться под большим валуном, перекурить, передохнуть перед новым подъемом. Жабчиков разложил на коленях свое хозяйство и теперь, оторвав край газетки, старательно крутил козью ножку. Я пошарил в карманах, достал пачку «Беломора». Она была пуста. Улыбнувшись, заглянув для верно-



сти еще раз, я надул пачку, как мальчишки надувают пустые кульки, и весело хлопнул ею.

Жабчиков вздрогнул, осуждающе посмотрел на меня, потом, догадавшись, не без замешательства протянул мне алюминиевый портсигар, набитый махоркой, газетку.

Прежде чем оторвать край, я бегло скользнул глазами по тексту:

«...В ночь на четвертое сентября...»

— Постой, откуда у тебя эта газета?

— Как откуда? — обиделся Жабчиков. — Она чистая. Мне ее разведчики дали.

Я стал разворачивать сложенный во много раз лист. Он затрепыхался под ветром, но я крепко удерживал его. Середина была вырвана, и кроме начальной строки мне удалось прочитать:

«...приняла выдвинутое Советским правительством условие... военное главнокомандование объявило о прекращении военных действий на всем участке расположения финских войск с 8 часов утра 4 сентября...»

Ветер, задувавший с моря, рванул газетный лист, поднял его высоко и понес над каменистыми склонами, над шапками сосен, над запутанной сетью траншей и ходов сообщений. Я проследил за его колеблющимся полетом, опустил взгляд и снова увидел мызу Лаволу.

В наступающих сумерках мыза уже не казалась мне, как прежде, чем-то величавым — это был полуразрушенный крестьянский дом, который, как и все на канале, надо было заново восстанавливать, подымать стропила, латать крышу, обшивать досками стены, чтобы дымок — он по-прежнему вился из кирпичной трубы — звал к себе и плотогона, и рыбака, и просто прохожего человека, заплутавшегося в северных сосновых дебрях.

Для Лаволы война кончилась. Для меня она только что начиналась.

Валерий Васильевич ДЕМЕНТЬЕВ

МЫЗА ЛАВОЛА

Художник М. БУТКИН

Главный редактор Ф. Царев
Литературный редактор Н. Логинова
Художественный редактор В. Науменков
Технический редактор Р. Углова
Корректор К. Петнева

Адрес редакции: Москва, Д-47, Хорошевское шоссе, 38/40
Г. 73613. Сдано в набор 15.5.70 г. Подп. к печ. 12.6.70 г. В печ. л. 55 000 тип. зн.
Бумага 70×108¹/₃₂ — 1,5 печ. л. = 2,08 усл. печ. л. Цена ~~5 коп.~~
Изд. № П/3818 Зак. 140

Ордена Трудового Красного Знамени
Военное издательство Министерства обороны СССР. Москва, К-160
1-я типография Воениздата
Москва, К-6, проезд Скворцова-Степанова, дом 3

12

12

2=00



Цена 5 коп.

72934